

«ЖДИ МЕНЯ» — ВЕРСИИ И ВАРИАЦИИ

В самом начале войны на Западном фронте я написал стихотворение «Жди меня». Дело в том, что я очень не люблю писать писем. Но иногда, когда бывало тяжело и одиноко, я писал стихи, которые, в сущности, были не чем иным, как неотправленными письмами к женщине, которая была очень далеко от меня...

Когда я попал на несколько дней в Москву, я подарил ей эти стихи взамен писем, которых она от меня не получала. Я считал, что эти стихи — мое личное дело, касающееся только меня и ее. Но потом, несколько месяцев спустя, когда мне пришлось быть на далеком Севере и когда метели и непогоды иногда заставляли просиживать сутками где-нибудь в землянке или бревенчатом домике, в эти часы, чтобы скоротать время, мне пришлось самым разным людям читать стихи. И самые разные люди десятки раз при свете керосиновой коптилки или ручного фонаря переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека.

Это отрывок из письма, написанного Симоновым 7 октября 1942 года и напечатанного в газете «Советская Культура» в апреле 1985 года.

Я ночевал на даче у Льва Кассиля в Переделкине и утром остался там, никуда не поехал. Сидел весь день на даче один и писал стихи. Кругом были высокие сосны, много земляники, зеленая трава. Был жаркий летний день. И тишина. Так тихо, что я вдруг почувствовал усталость. На несколько часов даже захотелось забыть, что на свете есть война <...>.

Первым слушателем «Жди меня» был вернувшийся из Москвы Кассиль. Он сказал мне, что стихотворение в общем хорошее, хотя немного похоже на заклинание.

А это версия из дневников за 1941 год*.

Вот как-то так родилось оно — самое знаменитое стихотворение в русской поэзии. Более того, помимо русской коллекции версий и вариаций есть как минимум три заграничных истории, не говоря уж о родных пенатах. Слава Богу, никто не взялся собрать все виды ответов на «Жди меня», в том числе опубликованные. И сам автор приложил руку к умножению версий того, как оно появилось на свет. Собственно, с этого и надо, наверное, начать: есть десятки публикаций этого стихотворения в сборниках, начиная с 1942 года, где оно печатается с посвящением «В. С.» на странице под заглавием, без посвящения стиха, зато с посвящением всей книжки «С тобой и без тебя» все той же В. С. и есть не меньше публикаций, включая самую первую в газете «Правда», где этого посвящения нет в помине. Так что, если бы меня спросили, является ли посвящение частью стихотворения, я затруднился бы с ответом. Бабка надвое сказала: в одном варианте биографии — да, в другом варианте — нет.

* Симонов К. М. Собрание сочинений: в 10 т. М., 1982. Т. 8. С. 205—206.

А лучшая из слышанных мною отечественных историй была эпизодом из непоставленного сценария, который передал мне для прочтения один из моих бывших артистов. «Жди меня», напечатанное на одной стороне открытки, а портрет Валентины Васильевны Серовой (В. С.) — на другой, рассыпанное как листовки над полем боя, поднимало бойцов в атаку, являясь одним из утвержденных командованием мероприятий по подготовке не то прорыва, не то фронтальной атаки — уже не помню.

Самая лучшая из заграничных вариаций — еврейская. На смотровой площадке при входе в бухту города Хайфы летом 1942 года сидел двадцатилетний еврейский солдат из английского батальона, смотрел, ну точно как Эрнест Хемингуэй на Кубе, чтобы немецкая подводная лодка не вошла в гавань незамеченной, а поскольку никаких лодок не было, читал стихи из книжки Шленского, только что выпущенной на иврите, в бумажной обложке. Когда он дошел до стихотворения «Ат хаки ли», в нем что-то зазвучало. Он прислушался: слова этого стихотворения ложились на рождавшуюся откуда-то изнутри музыку. Боец, а звали его Шломо Дрори, был парень певучий, но совершенно безграмотный музыкально, поэтому, дотерпев до конца боевого дежурства, он понес себя в казарму осторожно, как рог с вином, боясь расплескать ноты — слова-то были записаны на бумаге. Там он растолкал могучего еврея — соседа, игравшего на аккордеоне, и попросил записать то, что он напоеет, нотными знаками. Мелодия обняла эти слова, как тонкая кожаная перчатка — через некоторое время талантливый Соломона Дойчера взяли в концертную бригаду, которая ездила по фронтам, где воевали еврейские батальоны, и постепенно песня отрывалась от автора, у нее появились и поклонники, и другие исполнители, а к концу войны «Жди меня» стала одной из, а может, и самой популярной военной песней воюющих евреев. Ибо «Ат хаки ли» — это и есть «Жди меня», только на иврите. Заодно скажу, что мне, в связи с фамилией, пришлось увидеть и выслушать немало переводов «Жди меня» на иностранные

языки. Перевод Шленского отличают три основные достоинства: он безусловно воспроизводит ритмику оригинала. Положенный на музыку, он не требует ни малейшего насилие над словом, не нуждается в дополнительных слогах, не требует пропуска музыкальных тактов. И, наконец, этот перевод — и это какое-то мистическое явление: мне не раз и не десять приходилось слышать, что в самом «Жди меня» есть нечто молитвенное, — и перевод на иврит, язык молитв — сохраняет даже в песне какую-то невероятную божественную проникновенность, хотя это всего-навсего чередование четырехстопных и трехстопных хорейских строчек.

Кстати, на эти стихи было написано около сорока мелодий на Родине. В библиографическом указателе по творчеству К. М. Симонова есть упоминание, что на его текст имеются мелодии всех знаменитых советских композиторов, кроме Прокофьева и Шостаковича. Дунаевский и Блантер, Соловьев-Седой и Новиков — словом, весь цвет, а песни такой нет, и даже то, что в сохранившемся на пленке эпизоде из фильма-концерта времен войны, песню «Жди меня» исполняет мой любимый Леонид Осипович Утесов, ничего не спасает: песни такой нет. А у евреев — есть. Уж как это объяснить, не знаю, парадокс, с вашего разрешения. Есть, правда, еще песня, которой я не слышал, но она — литовская, написана на стихи Соломеи Нерис, которую так очаровал оригинал «Жди меня», что она написала свой отклик в размере этого стихотворения, который не только стал популярным, но и был положен на музыку. Его и сейчас поют, забывая об авторах, а история песни известна лишь немногим «узколитовским» специалистам.

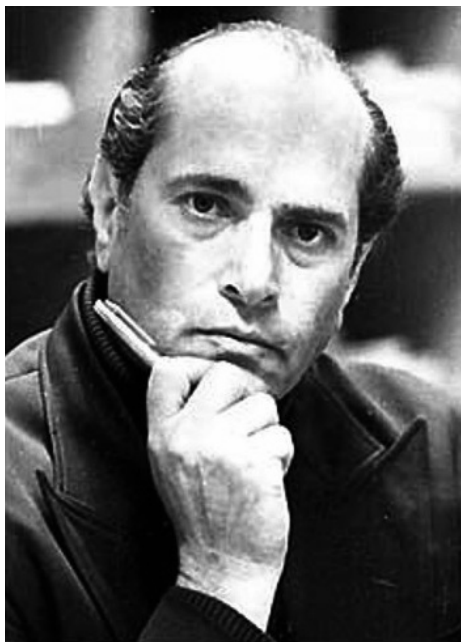
Но и это — далеко не все, что можно и следует рассказать о судьбах и легендах этого стихотворения. Например, такое: в 2003 году в Италии решили отметить 60-летие похода на Россию «Кампанья ди Руссия». Издали набор открыток — обмундирование солдат и офицеров разных частей итальянской оккупационной армии: медиков, пехотинцев, конников, саперов и т. д., вложили в жесткий конверт,

на котором с одной стороны напечатали карту этого, не самого славного, итальянского похода, а с другой — фотографию марширующего отряда на фоне снегов и надпись по-итальянски: «„Жди меня, и я вернусь, только очень жди“ — из письма солдата, погибшего на Дону». Кстати, отрывок из «Советской культуры», с которого началась эта заметка, хоть и написан самим Симоновым, тоже «олегендаривает» историю этого стихотворения, которое генерал Ортенберг — редактор «Красной звезды» и начальник Симонова до середины 1944 года — отказался печатать как чересчур личное, чего потом много лет не мог простить ни себе, ни Симонову.

Итак, написано оно было в двадцатых числах июля, пишет автор, на Западном фронте «вместо письма», а приехав в Москву, он якобы передал это «письмо» по назначению. Попробуем расшифровать этот ребус. Дача Кассиля, о которой сказано в дневнике, никак не подходит под определение «Западный фронт». Вернувшись в Москву, автор обнаруживает свое полное одиночество — в результате которого и едет не к маме с отчимом, не к любимой, которая «всем смертям назло», и вообще ни к кому из тех, кого можно именовать близкими, а едет к Кассилю, который во всех остальных дневниках войны больше и не упомянут ни разу. Он еще не определился со своей военной профессией, только-только осваивает стиль военной журналистики, а Ортенберг, к которому он перейдет работать через два дня, по старой памяти считает его поэтом при газете, как пару лет назад, когда они познакомились на Халхин-Голе, в «Героической красноармейской». Он менее недели тому назад совершил душевное открытие: понял, что есть шанс, и войну, начавшуюся таким вселенским позором, мы не проиграем — он увидел это под Могилевом, где стоял, упервшись в наступающего противника, стоял и не отступал полк Кутепова, на Буйничском поле, которое запомнится ему настолько, что он завещает именно на нем развеять свой прах. Все остальное в этой первой поездке на фронт запомнится остро и страшно, и определит тональность



К. М. Симонов и В. В. Серова. Война. 1943 г.

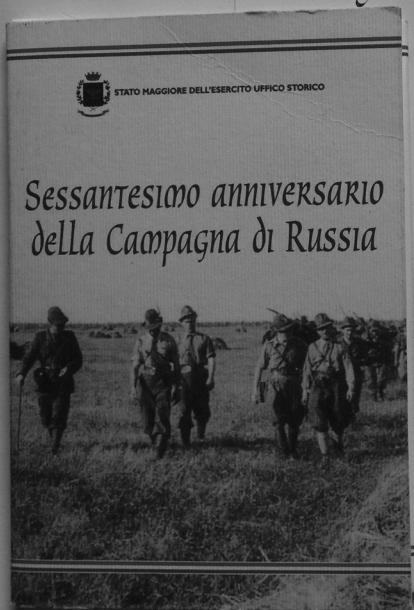


Валерий Аграновский — автор одной из версий происхождения «Жди меня»



У Шломо Дори, автора музыки к «Жди меня» на иврите. 2004 г.

La Campagna di Russia



“Aspettami, tornerò,
aspettami tanto, però,
aspettami quando gli altri,
dimenticando il passato,
non aspetteranno più”.

versi di un anonimo soldato italiano sul Don

Строчки из «Жди меня» на итальянском буклете,
с подписью «из письма солдата, погибшего на Дону»

и стиль его самой личной прозы о войне — начало «Живых и мертвых» и отделившихся от него повестей «Пантелеев» и «Левашов». Серовой нет в Москве, поэтому дистанция от него до нее в «Жди меня» заметная, хорошо ощутимая — при всей негромкости это стихотворение с дистанционным посылом, если это и «вместо письма», то письма куда-то далеко, по крайней мере, за Урал, если пересчитать на масштаб российских расстояний или расставаний.

Но это — малая легенда, связанная со «Жди меня». Можно было бы назвать ее одной из версий автора. Легенда, в которую я рассчитываю вас погрузить, выглядит куда более весомо.

30 января 1990 года, то есть через десяток лет после смерти отца, в газете «Московский комсомолец» опубликовано документальное повествование Валерия Аграновского — глава из повести «Последний долг», «Вариации на тему „Жди меня“». В главе два сюжета и оба восходят к истории написания этого стихотворения. Поскольку в одном из них в качестве достоверных источников информации действуем мы с моей мамой, начну с него, кое-что пропускаю из избыточного текста.

...заботясь о драматургии повествования, прошу вас, читатель, перенестись со мной в год 1978-й. Центральный Дом литераторов: писатели встречаются с работниками Норильского металлургического комбината <...>. Вел вечер Константин Михайлович Симонов, ему помогал Евгений Иванович Рябчиков.

Вечер формально и скучно катился к своему завершению, все ждали после торжественной части концерта «мастеров искусств», как вдруг слова попросил Давид Кугультинов. Симонов жестом попросил его к микрофону, поэт быстрыми шагами поднялся на сцену: пышная шапка волос, словно сильным порывом ветра, была сдвинута немного вверх и назад, так что всему облику знаменитого калмыка как бы придавалось летящее вперед состояние <...>.

«Друзья мои, — начал Кугультинов, — я не хотел бы портить вашего праздничного настроения, но не могу не вспомнить людей, на костях которых стоит Норильск» <...>. Говорил он сначала сдержанно, не распаяя ни себя, ни зал. Он вспомнил время, когда его «бригада» из двухсот человек, причем отнюдь не «добровольцев-комсомольцев», жила в бараке, в котором ни комнат отдельных не было, ни труб отопления, а только сплошным настилом нары в два этажа. На них впритирку, согреваясь телами, лежал согнанный с разных концов страны «интернационал», не о семье мечтающий, не о продолжении рода и даже не о том, чтобы жить, а о том, чтобы выжить: по утрам люди не сразу поднимались с нар, а прежде помогали друг другу отодрать волосы, примерзшие за ночь к стенам барака. Я запомнил еще несколько поэтических строк из той горькой и неожиданной речи: «Иная, даже верная жена писала отречение от мужа... и дети, рыдая, отрекались от отцов»; запомнил я и такой печальный образ: признание поэта в том, что, работая над стихами, он «слезами рифму закреплял»; ну и, конечно, последние слова Кугультинова, произнесенные хоть и с пафосом, но в трагической тональности: «Норильск, Норильск, скажи мне, почему ты все же дорог сердцу моему?»

Зал словно переменился, в нем оказались совсем не те люди, которые были до выступления поэта <...>. До речи Кугультинова и я избегал смотреть в глаза соседям, и они, я это чувствовал, уходили от моего взгляда — мы, по-видимому, подозревали кого угодно, кроме себя, в намерении провести вечер, как и было написано в пригласительных билетах, «в кругу друзей», а теперь стало ясно, что здесь собрался «круг товарищей по несчастью», которому ни мастера искусств не нужны, ни легкое времяпрепровождение, — и, стало быть, можно смело узнавать друг друга, можно открыть глаза. <...> В этот момент кто-то из стариков вспомнил с трибуны о кладбище на окраине Норильска, он сказал: «У нулевого пикета». Тут оратор показал всему залу носовой платок, на котором крестиками были

помечены места захоронений его товарищей по 14-му барраку 2-го лаготделения, а потом поднял над головой этот платок с планом кладбища, как единственный памятник погибшим, если не считать кровоточащей памяти. <...>

Я прекрасно понимал Симонова: как остановить оратора, как показать ему, куда надо поворачивать это горькое пиршество воспоминаний?.. Дождавшись паузы, Константин Михайлович что-то шепнул Рябчикову, наверное: «Женя, объяви меня». Тот немедленно объявил. Не помню точно, с чего начал Симонов, но сказал он примерно следующее: до войны ему пришлось написать стихи, посвященные другу, сидевшему в ту пору в Норильске, но по понятным причинам опубликовать их удалось несколько позже, в начале войны и, если зал не возражает, Симонов готов их сейчас прочесть. Поднявшись из-за стола, Константин Михайлович не встал на трибуну, а сделал по сцене два-три шага к зрителям, остановился у самого края и в полной тишине, без микрофона, грасируя, начал:

— Жди меня, — на третьей строчке зал вдруг поднялся. Мы стоя выслушали известные каждому стихи, вдруг приобретшие совершенно иное, я бы даже сказал — огушительное звучание. Сейчас я полностью процитирую стихотворение, а вы, читатель, если, конечно, сочтете это возможным, еще раз вчитайтесь в его смысл, чтобы убедиться: ничего в них нет о войне, а есть о сосланном в Норильск товарище Симонова, только одна строка может вызвать у вас сомнение, как вызвала у меня, в которой говорится об «огне» («как среди огня ожиданием своим ты спасла меня»), но сомнение отодвинется, если вы сочтете за этот «огонь» не пушечные залпы, а, положим, огонь маркетов Норильского металлургического комбината. Итак, вот эти знаменитые стихи, в которых я шрифтом выделю совсем уж «норильские» строки:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.

Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,

Жди, когда СНЕГА МЕГУТ,
Жди, когда жара,
Жди, когда ДРУГИХ НЕ ЖДУТ,
Позабыв вчера.

Жди, когда из ДАЛЬНИХ МЕСТ
ПИСЕМ НЕ ПРИДЕТ,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что ЗАБЫТЬ ПОРА.

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,

Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет — ПОВЕЗЛО.

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.

КАК Я ВЫЖИЛ, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Аплодисментов не было, ни одного хлопка. Молча стояли. Минуту, вторую. Может быть, три. Потом Константин Михайлович смущенно сказал: «Прошу садиться». Как говорят после того, как почтут память вставанием. Старики плакали, смахивали слезы с покрасневших глаз. Зал осторожно сел на свои места. Зал думал. Согласитесь, странно прозвучали со сцены ЦДЛ в исполнении Симонова — идеально к месту! — эти совершенно не военные стихи: ни фашистов в них нет, ни врагов, которые «сожгли родную хату», ни самолетов, ни противотанковых орудий, ни солдат, ни политработников, ни «коммунистов», которые «вперед!», ни окопов, ни выстрелов, ни «смерти», до которой «четыре шага», ни Родины, истоптанной оккупантами, ни «пяди», которую «не отдадим без боя», ни пролитой крови, своей и чужой, ни прочей атрибутики типичных военных стихов, тем более той грозной и призывающей поры, когда они официально были напечатаны в центральной газете. С другой стороны, если «Жди меня» действительно были связаны с политзаключенным, другом Симонова, сидевшим в Норильске, какими им следовало быть, чтобы иметь шанс на публикацию? Откровенно признаться, как и весь зал, я был в смятении.

На этом история не кончается, но прежде, чем в ней появиться автору настоящей книжки, да еще и не одному, а с мамой, хочется разобраться с норильской историей. Среди «типичных военных стихов» автор, известный журналист, успешно осваивавший в то время смежные профессии драматурга и прозаика, младший брат одного из лучших журналистов 60—70-х и 80-х — Анатолия Аграновского, уважительно и с симпатией принятый в околотературной тусовке, то есть человек талантливый и с име-

нем, упоминает сурковскую «Землянку», которая для меня является тестом на наличие или отсутствие поэтического чутья у любого человека, независимо от степени образованности.

Если помните, «Землянка» кончается строфой «Пой, гармоника, вьюге назло, / Заплутавшее счастье зови. / Мне в холодной землянке тепло / От „какой?“ негасимой любви». Моей или твоей? Для меня это принципиально, как запятая в «казнить нельзя помиловать». Человек, утверждающий, что годятся оба варианта, или тем более настаивающий, что на этом месте стоять должно слово «твоей», для меня — ну не то чтоб не существует, но стихи с ним читать или песни петь я на одном километре не сяду. Тест этот не сдал даже автор стихотворения, Алексей Александрович Сурков, который на мой вопрос «Как петь?» сказал: и так поют, и так — пусть их... тем самым подтвердив, что хорошее стихотворение может однажды родиться даже у случайного поэта.

Так вот, Валерий Абрамыч провалил бы этот тест условно. И тест этот имеет прямое отношение к «Жди меня». Вся «Землянка», все ее четыре четверостишья — мужской немудрящий и искренний рассказ о любви. Предмет этой любви эфемерен, он отсутствует, поэтому в землянке может быть тепло мужчине только от возбуждения собственных чувств, от буйства собственной крови и воображения, поэтому никакая «твоя» любовь тут быть не может, это даже понимать не надо, это надо чувствовать.

Давайте вообразим то, что почудилось Аграновскому: друг попал в лагерь, и оставшийся на воле мужчина уговаривает его ждать — ну, если отбросить логику как таковую, так логика чувств должна же существовать: заклинать человека, попавшего в лагерь, не забывать своего друга, остающегося на воле, невзирая на жизненные сложности?!

Но во всей этой надуманной истории есть одно наблюдение, которое я в ней вычитал и считаю, что оно оправдывает все это нелепое построение, ибо стихотворение — почти мой ровесник, знаю его тыщу лет и не приходило

в голову то, что заметил, выстраивая свою невозможную версию, Валерий Абрамович: как мало там войны, по сути, ее почти нет и, видимо, это усиливает эффект воздействия, потому что оно и текстом своим, видимо, укрывает человека от войны, притом совершая почти невозможное — создает капсулу покоя «среди огня» — единственное, что, как замечает Аграновский, трудно заменить мартеновскими печами.

И все-таки, что же такое сказал Симонов, что было Аграновским и, как он пишет, «всем залом» принято за признание?

Не мог он придумать в 1939 году всю систему, как прикрыть истинного адресата этого стихотворения: написать, влюбиться, уйти от жены в никуда, якобы посвятить предмету своей влюбленности стихотворение, прятать два года и напечатать его в «Правде», кстати, там оно напечатано без посвящения, — ну не может этого быть, это уже чересчур, хотя я готов подбросить в огонь нашей, теперь уже заочной, полемики с Валею аргумент про дневники. Дневников, когда в июле 1941 года написано было стихотворение, не было — Симонов еще не успел познакомиться с величайшей стенографисткой, гордостью «Красной звезды», Музой Николаевной Кузько — крохотной, уютной женщиной, которой он эти дневники продиктует через несколько месяцев. Пока они существуют в его памяти, его блокнотах и... стихах.

Но сказал-то он — что?

Мог придумать эту историю, поддавшись настрою зала? Мог. Хотя ни сам не наблюдал, ни от других не слышал, ни в книге воспоминаний современников не читал, чтобы где-то когда-то что-то подобное он сотворил. Но, предположим, мог. Но скорее всего, и это выглядело иначе. Из известных мне всерьез взволновавших его предвоенных посадок в литературной среде самая личная, о которой он сам вспоминал, — это история посадки Дукора, преподавателя Литинститута, с которым отец подружился и о котором, точнее, в защиту которого писал письмо в инстанции, а потом, годы спустя, писал снова, но уже в Комиссию

по реабилитации. Был ли Дукор в Норильске — не знаю, но допустим, был. И тогда возникает что-то вроде версии:

— У меня был друг, — говорит Симонов, — он сидел в Норильске. И у меня есть стихотворение, оно впервые напечатано в «Правде». Но в атмосфере этого вечера, слушая ваши воспоминания, у меня возникло ощущение, что каким-то образом эти два факта связаны. Я вам сейчас его прочту.

Ну, и «Жди меня», которое, в его чтении особенно, действительно могло поднять зал. Честно говоря, мне не хочется тратить остатки фантазии на еще какую-нибудь версию, хотя что-то же заставило Аграновского-младшего поведись на собственное настроение, взаимопроникнутое настроением зала ЦДЛ или эмоционально окрашенной памятью об этом вечере и царившем там настроении.

А то, что он действительно добавил писательского темперамента к ослабшей памяти, демонстрирует вторая, малая часть истории, в которую Валерий Абрамович ввел в качестве главного персонажа мою маму. В газетном варианте глава из будущей книги утверждала, что моя мама, Евгения Самойловна Ласкина, женщина, «обладающая совершенно уникальной памятью», рассказала Аграновскому, что, приехав в 1941 году с фронта, Симонов пришел на дачу Кассиля, где мы в то время жили, сел там работать, а через некоторое время вышел из рабочего кабинета с готовым «Жди меня», которое он нам прочел «с нескрываемым удовольствием».

Вот если бы не этот пассаж, я готов усомниться в своей, то есть отцовской, версии. Но тут вранье все, и под аккомпанемент этой фантазмагии рассыпаются изложенные Валерием «Вариации на тему „Жди меня“».

На эту публикацию мне пришлось откликнуться. Я с согласия матери использовал свое «право на ответ», а газета с удовольствием напечатала этот околотературный бой интеллигентных быков. Надо отдать Валерию должное: при перепечатке главы в книге он кое-что подправил, чтобы с нами не ссориться.

А история «Жди меня» продолжалась и внутрисемейно. Сначала мама — Александра Леонидовна Оболенская-Иванишева написала возмущенный ответ сыну в стихах, где выражено ее глубокое возмущение строками «Пусть поверят сын и мать / В то, что нет меня». Для особой убедительности изложено это возмущение по возможности тем же стихотворным размером, что и само стихотворение.

Конечно, можно клеветать
На сына и на мать.
Учить других, как надо ждать
И как тебе спасать.

Чтоб я ждала, ты не просил
И не учил, как ждать,
Но я ждала всей силой сил,
Как может только мать.

И в глубине своей души
Ты должен сознавать:
Они, мой друг, нехороши,
Твои слова про мать.

Но семейный конфликт быстро погас, и уже через пару месяцев бабка спрашивала в очередной открытке: «А как мой ответ на „Жди“ — ведь неплохо, а?» Но это опять внутрисемейное. А поветрие стихов-самоделок под условным названием «Жду тебя», оно же было повсеместным. Я приведу пару строф, не называя автора, тем более что большинству авторство казалось куда менее важным, чем поддерживающее фитилек надежды содержание.

Жду, хоть скажут — нет тебя.
Знаю: это ложь.
Жду и верю крепко я —
Все равно придешь.

Писем не было..., жгло грудь.
Каждый день, как год.
Кто так ждал когда-нибудь,
Тот меня поймет.

А через три года и дальше, пока готова была терпеть человеческая память, пока не стало задувать вихрем победы костер человеческого горя, пошла новая волна стихов-проклятий. «Ты же обещал... и не сбылось...» У меня нет сейчас под рукой ни одного стиха, но поверьте, поэтическим качеством они не страдали, страдали неслучившейся радостью, несбывшимся обещанием, несостоявшейся встречей, и эти волны шли через голову автора, который своими тридцатью шестью строчками заварил всю эту общенародную суматоху чувств.

И в заключение. Одно из самых трогательных шоу, ради которых, как мне кажется, и стоило придумывать телевидение, было названо «Жди меня». Оно и сейчас так называется, и происходящие в студии встречи людей, давно и безнадежно потерявших друг друга, подтверждают, что потребность любви живет в человеке в любых обстоятельствах, и поймать это и выразить в стихах — редкая удача, которая и постигла К. М. Симонова в конце июля 1941 года, под Москвой, на даче в Переделкине, на улице Серафимовича, где мы никак не можем поставить памятный знак этому стихотворению на месте его сотворения.

А «Жди меня» того заслуживает.